

© 2010 г.

**Член-корр. РАН В.П. КОЗЛОВ**

**ДНИ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ. ДНЕВНИКИ  
1941–1945 годов ДИРЕКТОРА ЛЕНИНГРАДСКОГО  
АРХИВА АН СССР Г.А. КНЯЗЕВА**

Опубликованный дневник<sup>1</sup> директора Ленинградского архива АН СССР Г.А. Князева, зафиксировавший прожитое и увиденное им в годы Великой Отечественной войны, представляет собой уникальнейшее явление в создании источника дневникового типа XX в. в России. Профессиональный историк-архивист, прекрасно знакомый с сотнями документов подобного жанра и имевший к началу войны свой личный, почти 50-летний опыт ведения дневника<sup>2</sup>, он вел его безупречно профессионально, ежедневно пунктуально изо дня в день фиксируя увиденное в осажденном Ленинграде на протяжении 416 дней Великой Отечественной войны, а потом – вплоть до Победы, сначала находясь в эвакуации далеко от Ленинграда, а затем, вернувшись в родной город, после снятия с него блокады.

Г.А. Князев (1887–1969) – выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, доктор исторических наук, всю свою жизнь связал с работой в архивах: сначала в качестве сотрудника Морского архива, затем в течение почти 40 лет (с 1929 г.) директора Архива АН СССР. Он был одним из учредителей Союза российских архивных деятелей (1917), активный участник съездов архивных работников РСФСР и СССР, автор многочисленных архивоведческих работ, исследований по истории науки, Академии наук. Будучи преподавателем ЛГУ, воспитал плеяду историков-архивистов.

Пожизненно прикованный к инвалидной коляске, Г.А. Князев в своем дневнике, словно извиняясь перед его будущими читателями, не раз и не два оговаривается о том, что мир видимого им – “мой радиус”, как пишет он – очень узок, в отличие от другого мира – “большого радиуса” – фронта и вообще мира, в котором совершаются исторически значимые события.

До Князева среди источников дневникового типа можно относительно легко, хотя и условно, выделить три их подвида: дневник – хроника, фиксирующее происходящее с автором и виденное им, дневник – размышление, являющийся для автора дневника своего рода подготовительным материалом к неким публичным сочинениям, и дневник – исповедь – своего рода психологическая авторская терапия.

---

*Козлов Владимир Петрович* – член-корреспондент РАН, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

<sup>1</sup> *Князев Г.А.* Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009, 1219 с.

<sup>2</sup> Дневник Г.А. Князева военных лет был использован в известном литературно-документальном произведении А. Адамовича и Д. Гранина “Блокадная книга”. (Л., 1989). Дневниковые записи Князева за 1915–1922 гг. см.: *Князев Г.А.* Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915–1922 гг. – Русское прошлое. Историко-документальный альманах, кн. 2. СПб., 1991, с. 97–199; кн. 4. СПб., 1993, с. 35–149; кн. 5. СПб., 1994, с. 148–242.

Дневник Князева – поразительное соединение и дневника – хроники, и дневника – размышления, и дневника – исповеди. На самом деле, они оказались подлинными тремя “радиусами” дневника Князева.

Рассмотрим каждый из них.

Радиус первый: дневник – хроника. Профессиональный и уже к тому времени снискавший заслуженный авторитет историка-архивиста Князев прекрасно понимал историческую значимость разворачивавшихся событий и причастность к ним попавшего в блокаду Ленинграда. И он принимает добровольное решение стать летописцем событий, современником или невольным участником которых он оказался. Но такого решения было мало. Нужна была выдающаяся воля, сила духа и великолепная самоорганизованность, чтобы практически ежедневно в течение всех дней войны и особенно блокады его любимого и знакомого ему до каждого кирпичика города, в голод, холод, при тусклом свете не электрической лампочки или даже свечи, а всего лишь фитилька малюсенькой лампы фиксировать виденное и переживаемое. Но и это еще не все. Рассуждая о своем замысле, Князев делает выдающийся шаг в его методологическом осмыслении. Его первая часть не столь и оригинальная, когда он, обращаясь к будущему читателю своего дневника, пишет, что его дневник может стать своеобразным дополнением к “официальным документам”, отразившим “научную историю” современности. Куда важнее, когда автор дневника сообщает своему будущему читателю о том, что “в моих записках ты ощутишь биение пульса жизни одного маленького человека, пережившего на своем малом радиусе большую, необъятную, сложно-трагическую и противоречивую жизнь” (с. 33). Потом и еще не раз он опять говорит о себе, обращаясь к будущему читателю: “А ты, прочтя, если судьба сохранит эти записи через сто лет, сопереживешь со мной, интимно, задушевно, просто, мои человеческие переживания, фрагменты мыслей и чувствований современника страшных событий” (с. 130).

Итак, Князев обещает будущим читателям дневника представить размышления и психологию “маленького человека” то ли гоголевского, то ли Достоевского типа. Однако уже первые страницы этого документа решительно противоречат этому обещанию, обнаруживая широкую эрудицию и глубину мыслей его автора.

Но и это, оказывается, не все в авторском замысле. Спустя всего немного времени после такой записи автор дневника уже осознает, что отражение в нем только его это не сделает дневник летописью. Первоначально это своего рода меланхолические записи – подходы к осознанию другого – например, поведения знаменитых и близких к ним людей: “Стараюсь передать то, что другие не напишут, даже мелочи, даже такие штрихи, как жена академика Алексеева, сидящая в свое дежурство у ворот в шляпке и лайковых перчатках” (с. 93). Затем, вдруг, он заявляет о своем желании “констатировать факты”. И это уже третий уровень осмысления происходящего в дневнике. Это еще остается, еще находится рядом с ним, но параллельно возникает другое – жизнь, которая окружает автора дневника. Для его новой методологии она звучит пока еще приглушенно. На 81-й день войны, 10 сентября 1941 г., Князев, еще только прицеливаясь неосознанно к главному, что составит суть его дневника, обращается к его будущему читателю: “Дорогой мой дальний друг, тот, который через 50 или 100 лет (если только эти записи сохранятся и не погибнут), простит меня за излишние и, быть может, скучные подробности, повторения. Но он найдет в моих записках честное отображение действительности сквозь призму моего сознания на моем малом радиусе. Все лишнее он отбросит, а некоторые детали, возможно, дадут ему возможность живее, яснее представить, сопережить наше страшное время” (с. 166).

Но и это еще не главное, еще только приступ к теме, имя которой – жизнь в осажденном большом городе в условиях войны вообще. Поначалу Князев словно бы стесняется, не решается делать обобщения об этой жизни, ограничиваясь пока только миром Архива: «Мы (работники архива. – В.К.) люди самые обыкновенные, ничем не замечательные, и записывать что-нибудь героическое мне просто нечего. Одно только и есть достойное внимания – это то, что мы работаем все время, даже во время тревог

на службе работа не прекращается. Вот и все, что можно отнести к нашему “героизму”. Это, в сущности, и немало при всем том, что сейчас приходится переживать ленинградцам» (с. 128). Но вот уже на 125-й день войны Князев ставит для себя новую задачу, наряду с фиксацией своего эго: “Я улавливаю биение пульса жизни кругом и стараюсь передать, как бьется мой пульс, как я воспринимаю, переживаю события, как они переживаются другими, – как теми, кто около меня, так и теми, кто как-нибудь на них отзывается по радио, в газетах” (с. 256). С каждым днем Князев расширяет и уточняет свой замысел: “Так бы хотелось запечатлеть и наше время, передать в нескольких лицах, движениях, одежде, типах живую жизнь в осажденном городе!” (с. 291). Этот подход им развивается дальше в записи на 148-й день войны: “Здесь, на страницах этих записок, я прежде всего мыслящий регистратор фактов и [того], как эти факты переживаются, отображаются в сознании моих современников, в том числе и в моем собственном. Я записываю их, регистрирую. Ни на что больше я и не претендую. Конечно, я делаю это, преломляя факты сквозь призму своего сознания. Иногда я записываю и маловажные факты, которые потом можно было бы и вычеркнуть как ненужные, ничего не рисующие”. (с. 308).

Впрочем, принимая решение описывать происходящее вокруг, ограниченное миром архива, увиденным на набережной по дороге из дома в архив и обратно, при встречах с людьми, миром дома, в котором он живет, сведениями, почерпнутыми из редких газет и из невнятно звучащего репродуктора, Князев какое-то время еще сомневается – нужно ли все это записывать? “Вести ли дальше мои записки? – задает он сам себе вопрос на 149-й день войны. – Они принимают слишком однообразный характер регистрации разрушений, причиняемых бомбежкой с вражеских самолетов. Я не охватываю, как современник, событий, и радиус мой слишком мал для полноты и разнообразия их изображения” (с. 310). 22 декабря 1941 г. он даже подумывает с 1 января 1942 г. прекратить вести свои записи. Но нет. Размышляя над увиденным, знакомясь с прошедшими через фильтр цензуры газетами и фронтовыми письмами родственников и знакомых, Князев делает в конце концов важный для себя профессиональный и психологический вывод: “Ни газеты, ни письма не отражают переживаемого нами времени... Честно выполняю свой долг бытописателя на моем малом радиусе” (с. 480) и далее: “Я в каждое лицо, в каждые глаза встретившегося мне человека заглядываю. Силушь все заметить, все записать, что вижу на моем малом радиусе. И мой поздний читатель не будет сетовать на меня и за то, что я позволяю иногда писать и о себе как об одном из многих”.

Итак, к началу 1942 г. авторское эго в дневнике окончательно преодолено, оно стало всего лишь частью других – “многих”, наряду с фиксацией окружающей картины.

Но и это еще не все в развитии у Князева понимания методологии своего дневника. С его первых страниц и далее на протяжении многих записей символическими героями документа становятся два сфинкса, установленные в 1834 г. на гранитных постаментах напротив здания Академии художеств по обе стороны спуска к Неве. В понимании Князева они как бы символизировали “мерило исторического времени” и в разные моменты духовного состояния автора казались ему то “беспомощными”, то бесстрастно-равнодушными, то просто “молчаливыми”, то символом “праха” Фив, из которых они были вывезены. «Сколько у меня, – пишет он, – с ними связано мыслей, образов, в связи с прошедшим и будущим... Я мгновенен, они – почти вечны. Даже если около них упадет фугасная бомба, вряд ли погибнут оба сфинкса; один-то, вероятно, останется. И записки мои, и стихи мои за многие годы так тесно связаны с нескими сфинксами, с моими думами, с моей тревогой, с “предчувствиями” или “прогнозами” того, что случилось» (с. 80). Не раз и не два в различных душевных состояниях он называет их своими “друзьями”. Создается впечатление, что какое-то время в дневнике они его автору кажутся ближе, чем люди. Человек, люди поначалу в дневнике Князева предстают всего лишь едва ли не безликими в той или иной волнующей его ситуации, в том или ином связанном с ним состоянии. “Зашла знакомая М.Ф. (жена

Князева. – В.К.) – мать двоих детей. Ко всему приготовилась. Ждет своей судьбы. Вот эта черта обреченности неожиданна и страшна” (с. 152). Такая странная проговорка – “знакомая” – а не названная по имени женщина, оказавшаяся в нелегком положении, пока волнует автора дневника как отражение некоего общего явления, а не судьбы конкретного человека. Знаменательно, что на страницах дневника первоначально в течение нескольких месяцев мы не встречаем даже какого-либо упоминания о соседях его автора по квартире. Даже жена Князева поначалу мелькает в его дневнике как безмолвная тень, выдвинутая на задний план описанием больших и малых событий жизни страны и Ленинграда. Применительно к характеристике этой общей ситуации в оценке людей Князев поначалу холоден и рационалистичен. «Люди, – записывает он 27 сентября 1941 г., – начинают делиться на две своеобразные категории: не обращающих больше внимания ни на какие тревоги, бомбежку, выстрелы и т.п. и волнующихся, нервно-напряженных. В первой группе: а) равнодушно-беспечные люди или слишком, до апатии уставшие, утомившиеся, которым стало “все равно”; б) верующие: “Господь бог знает, что делает, и только ему ведомо, кому жить, кому умереть”. Эти люди даже относительно спокойны... Вера спасает их... Ко второй группе [относятся]: а) беспокойные, с диапазоном от “нервности” почти до психического расстройства; б) нервно, но в меру напряженные люди, прислушивающиеся к свисту снарядов, далеким или близким разрывам их, болезненно ощущающие дрожание дома, взвешивающие ежеминутную, ежесекундную опасность, но внешне остающиеся спокойными» (с. 193–194).

Но проходит несколько месяцев и дневниковые записи Князева все более и более очеловечиваются. Общая для всех блокадных ленинградцев беда – темнота, голод, холод – и как их следствие – ежедневные смерти родных, близких, знакомых, трусость, растерянность, жестокость, покорность судьбе, мужество, ежечасная и повседневная борьба за выживание как-то незаметно начинают все больше и больше проникать на страницы князевской хроники через удивление, возмущение, осуждение, сострадание ее автора и окружающих его людей. На 102-й день войны он фиксирует еще одну методологическую составляющую ведения своего дневника. Князев пишет: «Газеты полны статьями о борьбе с врагом на подступах к Ленинграду. Они будут в руках читателей, сохраненные в библиотеках. Но газеты не передают и не передадут оттенков, “нюансов” переживаний отдельных людей. Они сообщают или о героизме, или о преступлениях, о чем-то из ряда вон выходящем. А вот здесь, на этих страницах я стараюсь передать бесхитростно то, что переживается самыми обыкновенными людьми, к которым принадлежу и я. Правда, “самые обыкновенные люди” вряд ли записывают свои впечатления. Вот только этим, пожалуй, я и отличаюсь от них» (с. 205–206). В другом месте автор дневника еще более определен: «А вокруг меня, – пишет он, – маленькие люди, и даже среди них есть не только “существователи”, но и скромные истинные герои. Нельзя только говорить об одних героях и об одних “существователях”. А будущие воспоминания, конечно, осветят переживаемые нами дни только и исключительно героически... Вспомнит ли тогда кто-нибудь стрелочников на железнодорожных путях, обходчиков, исполняющих свой долг под непрекращающейся бомбежкой, пожарных, тушащих пламя под разрывающимися бомбами, дежурных на вышках» (с. 212). В этот перечень “незаметных профессий” Князев не в одном месте своего дневника включал и себя и своих сотрудников по архиву.

На фоне описания разворачивавшихся блокадных событий “люди вообще” и конкретные люди со временем заняли в дневнике достойное место. Князев теперь даже стремится дать в своей хронике их профессиональные, художественные, психологические портреты, причем, далеко не всегда такие портреты даже, казалось бы, на общеприимном фоне страданий, выглядят благостными или героическими. С особой тщательностью вырисованы портреты сотрудников архива – дочери А.А. Шахматова С.А. Шахматовой-Коплан, И.С. Лосевой, А.А. Травиной, П.М. Стулова, Т.К. Алексеевой-Орбели, Е.М. Беркович, П.Н. Корявова, И.И. Любименко, М.В. Крутиковой,

А.В. Цветниковой, В. Костыговой, известных ученых Л.Б. Модзалевского, А.М. Чернова, А.И. Андреева. Но и образы других – “вне архивных” людей запечатлены здесь изрядно, начиная от академиков В.М. Алексеева, С.А. Жебелева, И.Ю. Крачковского, А.С. Орлова, Ф.И. Щербатского и кончая этнологом А.П. Тянь-Шанским и дворником Алексеем. В морозные и голодные месяцы зимы и весны 1942 г. Князев с каким-то изумлением начинает описывать судьбы соседей по дому – сначала трех дочерей и внучки семьи покойного президента АН СССР А.П. Карпинского, затем соседки по квартире Т.Н. Балабановой. Теперь, пережив первую блокадную зиму, он начинает замечать рядом с собой свою жену и целые страницы с нежностью описывает ее героические усилия по налаживанию быта и сохранению своей и мужа жизни. Наконец, в это же время не одну страницу дневника он начинает посвящать своей жизни в прошлом и размышлять о судьбе в ближайшем будущем.

Как профессиональный историк-архивист, фиксируя современность, Князев постоянно переживает за то, с каким доверием будущий “друг – читатель” отнесется к записанному в его дневнике. Ведь тот читатель будет знать, что автор дневника – инвалид, большой спастическим парализованным, прикованный к трехколесной коляске. Мир его – это дом, это дорога по Университетской набережной и Набережной лейтенанта Шмидта от дома до архива и обратно, по которой можно встретить знакомых, откуда можно увидеть Неву и ее другой берег с памятником Петру Великому, Зимним Дворцом, величественными зданиями Сената и Дворца Лаваль, это Румянцевский сквер, Архив, расположенные по той же набережной Кунсткамера, Академия наук, Академия художеств, Зоологический музей, куда он имел возможность заглядывать по служебным и личным делам, это академическая столовая. Таково было во время блокады для него географическое пространство наблюдения и осмысления. Это было все. Или почти все, потому что когда позволяла погода и военная обстановка с помощью преданной жены не без труда он имел возможность, преодолев Николаевский мост, оказаться на Невском проспекте. И ему, инвалиду, всего лишь директору академического архива, раздвинуть это географическое и заодно информационное пространство было трудно, практически невозможно: газеты приходят нерегулярно, а то их и вовсе нет, радио изъято, репродуктор за исключением сигналов тревоги, лишь шипит, невнятно донося какие-то сообщения. Правда, есть люди со всех концов осажденного Ленинграда, которые делаются своими впечатлениями от происходящего там, где он не может быть по определению, например, на рынках, приносящие ему всевозможные слухи, вплоть до вот-вот состоящегося объявления Ленинграда “открытым городом”.

Князев старается оградить себя от всяких подозрений в необъективности своих дневниковых записей, их неточности со стороны будущих читателей: “Я, как всегда, не записываю всего вздора, который болтают. Этот мусор, сор, слякоть обывательщины. Но иногда среди всяких сплетен прорывается какая-нибудь мысль, предположение, которое – как дым не без огня” (с. 29). Он признает ограниченность своего информационного пространства. И действительно, автор дневника многие месяцы блокады не знает ни линии фронта вокруг Ленинграда, ни даже о “дороге жизни” через Ладогу. Читая газеты, на 63-й день войны, Князев с горечью для себя и своей хроники констатирует: “Мы так ничего и не знаем толком, что делается на фронте” (с. 141). Но это сожаление, на самом деле, очень важный факт в истории Великой Отечественной войны, за который мы ему должны быть благодарны. Но Князев верен однажды избранному принципу своей летописи: “Я, – пишет он, – не записываю массы вздорных и нелепых слухов. Мне не хотелось, чтобы в моих записях сообщалось под видом факта что-либо вымышленное” (с. 133).

Негативное отношение к слухам рефреном проходит через весь дневник Князева. Но что же тогда служит источником добровольного и старательного бытописателя истории блокадного Ленинграда? Его глаза и уши, ограниченные их физическими возможностями, – в первую очередь. Его острый, аналитический ум, не раздавленный инвалидностью. Случайные или постоянные прохожие, усталые, голодные, раз-

драженные холодом и неурядицей ленинградцы, бойцы зенитных батарей, деловито устроившиеся на Университетской набережной, ежедневно видели этого человека в трехколесной коляске. Утром от своего дома № 2 по 7 линии или дома № 1 по Набережной лейтенанта Шмидта он направлялся в сторону Николаевского моста, недалеко от которого находился академический архив, вечером то же самое повторялось снова. Иногда, когда встречный ветер по набережной был очень сильным, или когда она заливалась весенними и летними дождями или покрывалась нескотлым льдом, движению коляски помогала женщина – жена Князева. И так повторялось, исключая редкие дни болезни, 416 дней.

Для бойцов зенитных батарей и постоянных прохожих Князев стал привычным на своей коляске – то ли инвалидом, совершающим ежедневно две прогулки по утрам и вечерам, то ли сошедшим с ума в дни блокады ленинградцем. Конечно же, он не был ни тем и ни другим. Его глаза – видели, его уши – слышали. Видели, как роют траншеи по Университетской набережной, как маршируют новобранцы в Румянцевском сквере. Слышали разговоры случайных прохожих, разрывы бомб и пальбу зенитных батарей – где-то далеко и совсем рядом. И, преодолев шесть пролетов роскошной массивной лестницы престижного академического дома, в большой коммунальной квартире его третьего этажа, он изо дня в день записывал увиденное и услышанное, подмечая, фиксируя и анализируя детали, которые не всякому человеку были доступны и понятны. Вот, например, его запись от 26 мая 1942 г. Князев стоит около своего дома. Готовясь к своей дороге по набережной, он подсчитывает, сколько по ней прошло пешеходов и проехало автомобилей. Зоркий взгляд и острый ум позволяют признать: “В минуту по магистрали, в направлении на мост и с него, к нам проходило на круг 5–7 человек, тогда как прежде проходило не менее 100 человек. Автомобили пробегали с большими интервалами, еще реже показывались трамваи. Иногда мост и подъем к нему были пусты! Неужели так опустел город?” (с. 711).

Радиус второй: дневник – размышление Князева. На этом радиусе – целый мир его мыслей, его надежд и разочарований, которые, разумеется, условно можно объединить в несколько групп.

Остановимся лишь на некоторых из них. Группа первая размышлений историка-архивиста связана с его пониманием СССР как особого цивилизационного явления в истории человечества и в его представлении, вне всякого сомнения, носящего в настоящем и в перспективе абсолютно прогрессивный характер. У Князева в его дневнике нет даже и доли сомнения в совершенстве государства, в котором он живет. Его некоторые размышления на этот счет даже похожи не на мысли, а на лозунги, странно-наивными выглядящие сейчас. “Мировой Октябрь – вот мое знамя”, – заявляет он (с. 429). В СССР, не раз пишет автор, реализована не только идея равенства, но и справедливости, СССР – будущее человечества, Ленин и Сталин – идеальные вожди в это будущее. Правда, что-то случилось в СССР в 1936–1937 гг. – в своих рассуждениях об этом Князев предпочитает говорить не мимоходом, а скороговоркой, а местами – отреченно-бесстрастно и холодно, как бы пунктирно. 15 ноября 1941 г. он, например, сухо записывает в дневник большую цитату из опубликованной в “Правде” статьи бывшего посла США в СССР Джозефа Дэвиса, оправдывавшего репрессии в СССР: «Московские процессы обнаруживают изумительное предвидение Сталина и его близких соратников, а также объясняют великолепное сопротивление, оказываемое русскими нацистам. Они – процессы – уничтожили “пятую колонну” в СССР, которая способствовала гибели других стран. В отличие от других стран в СССР предатели были уничтожены до войны» (здесь и далее подчеркнуто Князевым. – В.К). (с. 307). Но перед угрозой фашистской победы над СССР он даже этот пунктир склонен забыть. “Вот сейчас перед нами, советскими людьми и стоит одна из важнейших и насущнейших задач – хранить как зеницу ока, как наше сердце, это морально-политическое единство советского народа. Пусть было допущено много ошибок, перегибов, пусть, но все это бледнеет и не должно быть не только камнем, но и песчинкой на пути этого

морально-политического единства” (с. 305). Уже на излете войны, подводя итоги своих размышлений об СССР, Князев представляет их через собственную судьбу. Он пишет: «Жил когда-то формулой: “Христос. Нравственное совершенство. Работа. Ум”... А потом я все больше начинал понимать, что этот маяк лишь в моем воображении... Пришел 1917 год. Случилось в мире что-то новое, небывалое. Трудно было сначала во всем этом необычном разобраться и страшно было. Сбились пути. Оказывалось, у мечтателя Ленина было больше правды, реальности, чем у мечтателя Христа... Не менее семи лет читал его: Ленин был чужд мне сначала... Смерть Ленина в 1924 году всколыхнула нас всех. Пожалуй, лишь с этого года я могу называть себя советским. До этого я принимал советскую власть лишь как историческую необходимость, как неизбежность... И не менее важное – пережив непонятное мне жестокое и тяжелое, что происходило в партии с 1934 г. по 1938 г., я закалился в понимании противоречий, в диалектическом объяснении истории... Я стал безоговорочным советским человеком, беспартийным большевиком в полном смысле этого слова. Христос остался мне дорог своей мечтой, той же самой мечтой, которая у Ленина и Сталина. Но у Христа была только мечта, а у последних – реальный путь к достижению этой мечты. И у Христа, и у Ленина, и у Сталина – одна цель: ценность человеческой личности, грядущее коммунистическое общество» (с. 1031–1033). Вот почему этот кристально честный советский человек, например, если и не с явным неодобрением, то, уж, вне всякого сомнения, с откровенной настороженностью относится к лозунгу “За Родину” вместо привычного “За советскую Родину”, к попыткам государства наладить связи с церковью. Его повергают в смущение усилия советской дипломатии: с одной стороны, для любого здравомыслящего человека второй фронт против Германии казался очевидно необходимым, с другой стороны, Князев не может освободить себя от беспокойства по поводу последствий союза с “империалистическими государствами” и в конце концов успокаивает себя старым ленинским лозунгом о превращении войны империалистической в войну гражданскую для Англии, США, других капиталистических государств.

Вторая группа размышлений Князева касалась причин и роли войн в истории человечества. В начале своего дневника Князев записывает: «Предо мною среди других книг – “Хронологическая таблица важнейших военных событий всемирной истории”. Неужели этот страшный перечень побед, поражений, падений, взятий, битв, сражений, войн, войн без конца и есть история человечества?!» (с. 105). В конце концов в своих многочисленных рассуждениях об этом автор дневника приходит к неутешительным выводам: война – неизбежный спутник человечества, завершится эта, самая кровавая война в его истории, и “лет через 15–20” вспыхнет новая. Пытаясь найти причины этого, Князев даже склонен обвинить Библию: “Не сказки и легенды, а то, что почти на каждой странице кровь и жестокость. Особенно страшен жестокий библейский бог... Через всю Библию проходят “казни и наказания божии: казнь Ахона; казнь Агавы; избиение аммолитян. Убийства, казни и избиения без конца – единичные и массовые”.

В этой “Вечной книге” отразилась вся жизнь древнего народа, сумевшего запечатлеть в веках и радости свои, и страдания, и чаяния милосердия, и ужас перед тем, перед кем они трепетали, и имя которого было запрещено произносить вслух. Но вот загадка – как эта Книга могла стать “священной” для христиан, и учить, как жить миллиарды людей?! В конце концов Князев приходит к выводу: «По существу люди остались такими же, как они изображены в Библии, в этой “Вечной Книге”. За 2,5 тыс. лет жестокость людей не утихла. И сильнее еще разгорается ярость людей друг против друга. И многие еще говорят: “Так Богу угодно. Пути его неисповедимы”» (с. 1030–1031).

С этим последним выводом Князева тесно связана третья группа его размышлений, касающаяся человеческой природы, поступков и поведения людей в условиях блокады и вообще войны. Дневник создавался в экстремальной ситуации, которая, по справедливому мнению его автора, всегда особенно ярко выявляет сущность людей. И Князев

старательно фиксирует не только их поступки и действия, но и пытается объяснить их причины, мотивацию. С одной стороны, он поражается и гордится жертвенностью и героизмом своих соотечественников. “Итак, – записывает он 21 сентября 1941 г., – апофеоз героической смерти – вот лозунг этих дней. Если не победим, то умрем. Ни шагу назад... Отступать больше некуда” (с. 185). Ненависть, ненависть, ненависть. Сентиментальность, когда гитлеровские полчища, убивая и сжигая все на своем пути к Москве и Ленинграду, является преступлением. И гуманист Князев, первоначально колебавшийся в согласии с этими пропагандистскими призывами, вдруг понимает, что они вызваны той жизнью, в которой он находится. “И как далек, – записывает он, – в эти страшные дни тот мечтатель из Галилеи, поразивший умы и сердца людей своим учением о едином Боге, отце всех живых существ, о равенстве всех людей и братстве их... Какой анахронизм!” (с. 207).

С другой стороны, какое-то время Князеву кажется, что героические поступки людей, основанные на любви к Родине и ненависти к фашистам, совершаются где-то не там, где находится он сам, а на полях сражений под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и Севастополем. Вокруг же Князева обычные и выдающиеся люди либо просто работают, либо страдают, либо обнажают все свои, до случившейся беды скрываемые, едва ли не первобытные инстинкты. На 62-й день войны Князев фиксирует: “Есть такие мерзавцы, которые... не стесняются высказываться в том духе, что им и при немцах не будет хуже. И будто бы есть такие уроды на нашем дворе!” (с. 140). Это на неизвестных жителей академического дома гневался автор дневника. А спустя чуть менее 100 дней он узнает: “Работница, носящая кирпичи в соседнюю квартиру для устройства огневых точек, говорила кому-то на дворе, что они, женщины, хотят идти в Смольный с требованием сдачи города” (с. 305–306). Позже, наблюдая за ленинградцами, Князев более спокоен и рационален. “Как вся наша жизнь, – записывает он в дневнике, – и жизнь в осажденном городе полна противоречий. Не правы будут и те, кто скажет об одной усталости, угнетенности; неверно будет и утверждение, что среди ленинградцев было лишь одно геройство. Была жизнь, полная противоречий” (с. 201). Это общее, записанное на 100-й день войны наблюдение, Князев не раз потом подтверждал, расширяя и детализируя его.

На 141-й день войны, 9 ноября 1941 г. Князев записывает: “Есть два плана в поведении каждого из нас: гражданский, мужественный и личный, индивидуальный. Первый зовет к подвигам, заставляя забывать личное, даже свою жизнь, второй напоминает о том, что эта жизнь, которая дана тебе, одна – единственная! На первом плане – подвиги, отречение от себя, на втором – единственная потребность отдохнуть, успокоиться, хоть несколько лет прожить для себя в покое, в удовлетворении своих интеллектуальных интересов. Как никогда, жизнь переплела и обострила эти противоречия. Помимо всего другого, она требует от нас незаметного будничного геройства – терпеливо выносить все испытания и, если понадобится, незаметно – среди других миллионов – погибнуть. Подвиг требует отваги, декораций, апофеоза имени героя. От нас, заурядных людей, ничего не требуется, кроме жертвы!” (с. 290–291). В другом месте Князев уточняет свое понимание происходящего: “Отнюдь не надо представлять себе, мой дальний друг-читатель, – пишет он, – тяжелую, без преувеличения нашу жизнь в трагическом стиле. Если одни люди идут по улице и шатаются, то есть и такие, которые еще улыбаются. Если везут мертвецов, то не сплошь, а изредка, с большими интервалами, отнюдь не гужом. Если не видно на улицах транспорта, то это не значит, что он отсутствует совершенно, а то, что он редок. Если люди умирают, то другие продолжают жить и даже шутить. Отнюдь не жизнь в трагических масках, а просто жизнь, тяжелая, иногда слишком тягостная, действительно в полном смысле трагическая... Но жизнь как таковая, просто жизнь” (с. 445).

Однако время, стремительно приблизившееся и сделавшее реальными для ленинградцев голод и холод, даже в эту обобщающую простую схему поведения людей, и понимания происходящего вносило свои очень важные и символические поправки.

Люди начали не обращать внимания на бомбежки и артиллерийские обстрелы. Люди перестали дежурить на крышах и чердаках. Люди уже не спускаются в бомбоубежища во время налетов фашистских самолетов или артиллерийских обстрелов. Что это: героизм или привычка, превратившаяся в безразличие к самим себе? Князев отмечает в своем дневнике, что игнорировать осколки бомб и снарядов – это не геройство, не подвиг, а глупость. Значит, привычка, превратившаяся в равнодушие к своей судьбе. Нет, конечно же, не у всех. Наряду с ними, “усталыми, голодными, ко всему уже равнодушными”, в конце декабря 1941 г. в Ленинграде еще есть те, кто привык, но при выстрелах принимает некоторые меры предосторожности, ищет укрытий. А другие и вовсе тотчас же сломя голову бегут в бомбоубежище” (с. 372).

То было поведение людей в обстоятельствах чрезвычайных – при артобстрелах и бомбежках. А в обычных блокадных условиях люди также проявляют себя по-разному: “Одни, – замечает Князев, – героически, другие шкурнически; одни болеют душой за родину просто или за советскую родину, за культуру, человечность, другим до этого мало или совсем нет дела, только бы прожить, только бы ухватить свой кусок – это в лучшем случае, а в худшем – устроить свое благополучие на несчастье других; одни воспринимают все глубоко взволнованно или, разумно взвешивая все обстоятельства, имеют пред собой какую-то перспективу, другие питаются слухами, не имеют никакой линии поведения, нервны не в меру, злобны иногда или цинически равнодушны, бездушны к другим. Вот два полюса и между ними все промежуточные звенья” (с. 710).

В конце февраля 1942 г., наблюдая за окружающими, Князев фиксирует охватывающую людей обреченность, безнадежность и надежду только на чудо. “Вот эта черта обреченности, неожиданная и страшная, – пишет он. – Все мы терпеливо ждем своей судьбы... Очереди тихие, молчаливые, покорные” (с. 152).

Параллельно Князев фиксирует и еще одно явление: разобщенность людей даже в кастовой, профессиональной академической среде его престижного дома. В нем все начали жить “изолированно, никакого намека на какой-нибудь социализм или тем более коммунизм. Все сами по себе. Даже нет самой простой и элементарной взаимопомощи. Особенно изолированно держались и раньше семьи академиков... Другие жильцы также чуждаются друг друга, и не из гордости, а из своей мешанской или чиновничьей природы. Но печальнее всего то обстоятельство, что в нашем доме были два депутата – коммуниста и ни один из них никак не проявил себя... Так мы [и] живем все врозь, без всякой взаимопомощи, без всяких намеков и признаков какого-нибудь социалистического уклада, изолированно переживаем все трудности” (с. 400). “Испытания не сблизили, а разъединили людей”, – пишет он в другом месте (с. 534), они заставляют людей бороться за существование по одиночке.

Рефреном едва ли не по большей части дневника Князева звучит слово о ленинградцах, которые в годину беды “молчат”. Это, конечно же, не знаменитый карамзинский рефрен, блестяще использованный Пушкиным, т.е. это не художественный прием, а всего лишь констатация той реальности, в которой жил Князев, вряд ли в тяжкие дни блокады вспоминая о художественном и даже философском смысле “народного безмолвия” по Карамзину и Пушкину. Это точная фиксация ситуации “молчания”, “безмолвия”, причины которых нам сегодня понятны, а для автора дневника, зафиксировавшего их, были тогда смертельно опасны в их объяснении.

Группа четвертая размышлений Князева посвящена фашистской Германии. Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить в его понимании вселенского зла, принесенного этим фашистским государством миру и СССР. Может быть, кроме одного: мучительных размышлений Князева – гуманиста и пацифиста – относительно германского народа. Как он, этот народ, наследник великих Гейне и Гете, создал условия для появления фашистской идеологии и политики и принял участие в их реализации и как теперь, когда полчища германцев топчут землю его любимой родины, относиться к немецкому народу и гитлеровской армии? Князев смущен, растерян, мечется на страницах своего дневника, пытается найти ответы на эти вопросы. С одной стороны,

осажденный Ленинград, на улицах и в домах, в окопах и на кораблях которого гибли сотни тысяч его мирных жителей и защитников, требовал одного: “Убей немца”, “Отомсти”. С другой стороны, гуманистические убеждения Князева не позволяли ему свой гнев и ненависть распространять на весь немецкий народ. Но и не оставляли повода для мучительных колебаний между советским патриотизмом и гуманизмом.

Исповедальная часть дневника Князева пространна, эмоциональна и искренняя. Она вся пропитана мучительными размышлениями автора о соотношении идей гуманизма с прошлой и окружающей его реальностью, о его, инвалида и директора академического архива, личном долге перед Родиной, наукой, людьми. В первые месяцы войны автор смущен, даже подавлен не столько стремительным германским наступлением, сколько тем, что он, инвалид, оказывается в стороне от героических событий на фронте, не может внести в них свой посильный вклад. Но вот враг оказывается на подступах к Ленинграду и Князев с каждым днем все больше и больше начинает осознавать свою причастность пока только к жизни блокадного города. Время идет и у автора дневника возникает своего рода “теория пассивности” его места в войне. Первоначально свою причастность к войне он видит через работу в архиве, через пропаганду оптимистического взгляда на будущее, над которой некоторые его знакомые, правда, откровенно иронизировали. Затем себя и своих коллег он начинает называть “пассивными защитниками” Ленинграда, выполняющими свой долг по сохранению документальных ценностей. И, наконец, переживая ужасы холода и голода блокадного Ленинграда, Князев уверенно и оправданно относит себя и своих коллег – архивистов уже к “пассивным героям – защитникам” города. “Я и мне подобные, – записывает он 12 марта 1942 г., – неизбежно погибнем, мы обреченные, пассивные герои... Страшно или не страшно пассивно умирать – не берусь рассуждать заранее. Но я знаю, за что я умираю, за что я страдаю... Потому я живу сейчас – и работаю, и пишу, и спешу покончить многие свои дела, – что глубоко верю в победу социалистического общества будущего, далекого будущего” (с. 536). А 10 июня 1942 г., когда жизнь в блокадном Ленинграде всего лишь на вершок травы, ставшей возможной для пищи, чуть-чуть стала полегче, он пытается детализировать свою “теорию пассивности”: «Никакой радости. Никакой зацепки. Отстоять Ленинград, мою социалистическую родину. Святое благодарное дело. Но я “пассивный герой”... Могу лишь только умереть, но не сражаться с врагом. Могу лишь пассивно умирать». Написав это и подумав, Князев оценил свою запись как “малодушие”. И он открывает в себе и в окружающих его людях героев, а потому, верный долгу историка – архивиста продолжает: “Но так на самом деле. Не хочу лжи. Я и тысячи, тысячи других, таких же, переживают то же. Только молчат об этом. И я молчу. А потом и мы, и другие будут вспоминать о нас как героях... Мы и на самом деле герои. Но мы не артисты, не деланные герои, а герои – люди, простые и обыкновенные” (с. 730).

Но осознание героики происходящих событий и своей причастности к ним не снимало того внутреннего душевного напряжения, психологической усталости, подпитывавшихся неудачами Красной Армии, налетами вражеских самолетов и артиллерийскими обстрелами, а также голодом и холодом, которые Князев, как и большинство ленинградцев, испытал в осенне-весенние месяцы 1941–1942 гг. Не случайно зимой 1942 г. на страницах дневника появляется своеобразный художественный образ: “чертенок”, выглядывающий из-за чернильницы и ведущий с автором спор на различные темы. Это как бы антитеза любимым Князевым сфинксов. Те олицетворяли время и все вечно в нем, “чертенок” – повседневное и низменное, реалии жизни.

Эти реалии заставляли его думать о собственной судьбе. С одной стороны, Князев полагал, что блокада Ленинграда – это случайно состоявшееся, чудовищное историческое событие и долг историка участвовать в нем посильно и зафиксировать все его различные состояния до конца, тем более что на протяжении всей Великой Отечественной войны у него никогда не было и тени сомнения в победе над гитлеровской Германией. На 22-й день войны он записывает в своем дневнике: “Четыре часа я любо-

вался дивной панорамой своего родного города. Никуда из него я не поеду. Если случится несчастье, пусть лучше вот тут, где-нибудь на набережной или в водах глубокой Невы погибну” (с. 74). С другой стороны, автор дневника – просто обычный человек, да еще инвалид, да еще голодный и промерзший житель блокадного города – в какие-то особенно тяжелые мгновения своего бытия не мог не задуматься о своем будущем “покуда, – как записал он однажды, – есть настоящее”. В этом будущем долгое время он видел только два варианта.

Вариант первый: дожить, дожить во что бы то ни стало до лета, когда появятся большие возможности для эвакуации из осажденного города – ленинградская научная элита в своей значительной части уже покинула город, хотя и не всегда благополучно устроив свою жизнь в эвакуации. Но, размышляет Князев, оставив Ленинград, он совершит предательство не только по отношению к городу и его людям. Он предаст и Архив, а в конечном счете, и себя. Архив, конечно же Архив, – детище Князева, которое он создавал на протяжении десятилетий, не тяжелой гирей, а священным грузом лежал на его плечах. Трепетным, безмолвным криком Архив просил, умолял остаться и разделить вместе общую участь: погибнуть или вороватой рукой фашистов быть перемещенным в Германию. Почти как любимые Князевым сфинксы из Фив, оказавшиеся волею судеб на берегах Невы.

Вариант второй: добровольно уйти из жизни, чтобы не видеть судьбы любимого Архива, не подвергать себя дальнейшим страданиям и больше не видеть страданий других. “Но как уйти из жизни, если я не буду убит? Оказывается, что через удушение легче всего, некрасивый конец, но верный”. (с. 191). “Чертенок” из-за чернильницы как раз, улыбаясь, одобритительно кивает своей рогатой головой, одобряя такое решение. Вот и массивный, прочный крюк, ранее не замечаемый автором дневника, он обнаруживает в одной из своих комнат. Запись 10 февраля 1942 г.: “Опять разбирался в своей холодной комнате и поглядывал на черный железный крюк на белом потолке, кем и для чего он был вбит? Если для висячей лампы, то почему не посередине, а несколько сбоку?... Ну, значит, жить еще можно, если на всякий случай обеспечен конец” (с. 477). Крюк выдержит. И вот, после нескольких дней поиска, нашлась и не менее прочная удавка – “крепкий шнур. Сегодня я приметил его. Крепок и надежен” (с. 567). Он удобен и тоже выдержит.

Князев мечется между этими двумя вариантами. Сила его духа то подавлена, то вновь требует выбора. Эвакуация с архивом – невозможна: четыре километра полков с десятками тонн документов в условиях блокады переместить из города, спасающего людей, аморальна, да и технически не выполнима. Уйти из жизни добровольно, значит, доставить еще больше страданий своей, на глазах увядающей, любимой, и цепляющейся за жизнь вместе с ним, жены. В дневнике он приводит разговор с самой собой.

“Город заметно пустеет. Невыносимо грустно становится. Все силы собираю, чтобы справиться со своим упадком воли [к] жизни и слушаю диалог:

– Зачем же, зачем же так упорно цепляться за жизнь, когда начал скользить по наклонной плоскости [к смерти]?

– Ты должен цепляться; ты должен жить; ты нужен родине; ты не имеешь права дезертировать.

– Но если впереди не смерть на поле [брани], не в битве, не в борьбе, а “тупичная смерть” от дистрофии или скорбута, перегорание тканей или сгнивание заживо?

– Преступные мысли упадочника. У порядочного и честного советского деятеля не может быть таких мыслей.

– А если они есть?

– Они должны караться, преследоваться. Жизнь всегда – борьба, а сейчас вдесятирне борьба.

– Я и борюсь. Все, без всякой гордости и самоуничтожения говорю об этом, я делаю для преодоления всех трудностей. Исполню свой долг. Но я чувствую, что пос-

ледние это мои силы... А дальше – “тупик”. Говорю только о личности, о единице, о малом радиусе.

– Не имеешь права. Твоя жизнь не принадлежит тебе. Какой стыд и позор думать о выходе из жизни. Ты – нужный человек.

– И я сию пристыженный” (с. 774).

Прошло всего лишь пару дней и Князев вновь возвращается к мыслям о самоубийстве: “И опять назойливая и отчетливая мысль: не уйти ли вовремя, самому?” И в тот же день: “Ходил сегодня по хранилищам опять с чувством большой подавленности. Но не хочу сдаваться!” (с. 778–779).

Наконец, приходит решение – третий, ранее не рассматривавшийся вариант. Самоубийство – только после смерти своей верной жены. Эвакуация – только если прикажут. Запись 16 июля 1942 г.: “Решаем куда так: прикажут – уедем. Сами не будем поднимать этот вопрос. Бросить на произвол судьбы Архив я не могу. Я предпочел бы погибнуть вместе с ним, если так нужно было бы” (с. 784).

И случилось так, что судьба Князева распорядилась по этому, третьему, варианту. Жена вместе с ним – выжила, а летом 1942 г. пришло грозное, почти что персональное, распоряжение Президиума АН СССР об их немедленной эвакуации. Князев по этому поводу записывает в своем дневнике: “Значит, уезжать! Ходил по архиву словно кто мне по голове обухом ударил. Имею я право покидать Архив, не являюсь ли я дезертиром?” (с. 796). Но ленинградское академическое начальство в лице не любимого Князевым П.Н. Федосеева твердо настаивало: “Вам приказывают так поступить... и вы обязаны подчиниться” (с. 797).

О трех радиусах дневника Князева можно написать еще немало. Мы попытаемся проиллюстрировать их всего лишь на одном примере, объединенном темой “Архив в годы войны”. Благодаря дневнику Г.А. Князева мы можем сегодня реально не только представить, но и понять, что случается с документами в условиях войны – в данном случае в условиях Великой Отечественной войны.

Конкретные факты об этом из дневника можно было бы приводить до бесконечности. Мы не будем этого делать, попытавшись представить их типологию, по возможности, подкрепляя их цитатами из дневника.

Факт первый – полная организационная неготовность архивной службы Академии к войне. Лишь только в первый день войны ее руководитель, по его свидетельству в дневнике, “написал инструкцию для службы на случай воздушной или пожарной тревоги”, а также “наметил переноску наиболее ценных материалов в более безопасное хранилище” (с. 27), закрепленные соответствующими приказами, которые были выполнены. Только на седьмой день войны директор занялся составлением “на всякий случай”, как он пишет, плана эвакуации архива. Однако, реально оценивая ситуацию с этими действиями и их результатами, Князев признает: “Все наши меры – жалкие паллиативы! Были у меня представители других [академических] архивохранилищ. Везде такое же положение. Никаких предварительных мероприятий по охране ценностей на случай войны не было сделано” (с. 31). Более того, практически все дни блокады вопрос об эвакуации или мерах по дополнительной защите академического архива оставался подвешенным, неопределенным. “Очень путаные сведения получаем из разных источников, – записывает Князев в своем дневнике в начале июля 1941 г. – То все едем, то не все едем. То складываемся целиком, то частично распаковываемся. Ничего толком не знаем” (с. 65).

Факт второй: в условиях отсутствия сколько-нибудь продуманного плана эвакуации архивных документов импровизированные решения об их судьбе в условиях военного времени являются жестом отчаяния с непредсказуемыми последствиями. В своем дневнике Князев на седьмой день войны пишет о спорах относительно сохранения “жемчужины” академического архива – архива М.В. Ломоносова: “Наконец решили, что рациональнее всего будет поместить рукописи Ломоносова вместе с рукописями Пушкина в бронированной комнате в И[нституте] Л[итературы]”, т.е. Пушкинском

доме. Но успокоения нет, потому что через пару дней директор этого самого архива Пушкинского дома Б.П. Городецкий приходит к Князеву за советом, о том, как сохранить в пока еще не блокадном Ленинграде в условиях войны рукописи Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и др. “На Городецком лица нет. Не может спать” (с. 45). В конце концов наиболее ценную часть документов академических архивов удалось вывезти из блокадного Ленинграда.

Факт третий: разрушение в результате военных действий и в условиях блокады и без того далекой от совершенства инфраструктуры архива, прежде всего отопительной и канализационной систем, электроснабжения, создавшие невыносимые условия хранения документов и работы сотрудников архива. Например, на 117-й день войны Князев записывает: “Сегодня на службе работа шла с большими перебоями. Температура упала в служебных помещениях и хранилищах до 4 градусов. Работать нормально при таких условиях, конечно, невозможно. Времени сотрудниками потеряно до 75%. Часть из них поместилась в одной комнате, в башне, где у нас запасные хранилища. Там есть печка” (с. 236). Через месяц вновь: “У нас на службе сегодня холодно и сыро. Дров вовремя не достали, топим бумагой – макулатурой. В Архиве дымно, пахнет горелой бумагой” (с. 311). Но то были еще цветочки. 13 декабря Князев фиксирует: “В хранилищах мороз, в служебных комнатах тоже... Все время гаснет электричество, и тогда сотрудники сидят в полутьме. На лестнице тьма кромешная. Запереть двери на улицу нельзя: не слышно стука, а без электричества звонок не действует” (с. 347). И, наконец, как определенный горький итог произошедшего в январской (1942 г.) записи: “И случилось так, что и этот замечательный Архив сейчас находится в состоянии склада, в полуразрушенном состоянии, и в читальном зале при морозной температуре недавно стучал молоток и визжала пила, когда сотрудники мастерили самодельный гроб. Если обстоятельства изменятся и могут быть произведены восстановительные работы, много для этого потребуется сил и энергии” (с. 424–425). И, тем не менее, именно в эти тяжелейшие для инфраструктуры архива дни Князев набрасывает его будущий классический вид. По нынешним меркам “архивное завещание” Князева в отношении академического архива – его инфраструктуры, организации деятельности и т.д. – далекая старина, о которой, впрочем, и сегодня лишь приходится мечтать Петербургскому филиалу Архива РАН.

Факт четвертый: предсловутый, но вполне реальный человеческий фактор. В своем дневнике Князев приводит многочисленные примеры самоотверженных действий сотрудников архива по созданию минимально возможных в военное время условий для более безопасного сохранения архивных документов: “авральный” перенос наиболее ценных из них в более защищенные хранилища, укрепление окон и дверей, налаживание постоянного вечернего и ночного дежурства, заготовка песка на случай пожара, прием документов личного происхождения от эвакуируемых или умерших ученых, противодействие уничтожению документов текущего делопроизводства в академических учреждениях, участие в строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом и т.д. На 57-й день войны Князев констатирует: “Мой коллектив работает с напряжением, помноженным на обстоятельства военного времени... Утомляют сотрудников только вечерние и ночные дежурства. Нашему коллективу удалось сохранить покуда большую силу духа, нужное спокойствие и целеустремленность – преодолеть все трудности и делать на своем, хотя и малом участке, все, что требуется от нас в такое грозное время” (с. 128). А на 100-й день войны Князев, по его словам, “даже не мог прогнать своих сотрудников, которые не были дежурными в тот злополучный день, когда Ленинград обстреливался из дальнобойных орудий и горела уже ярким пламенем часть здания Сената” (с. 199). Но уже 16 октября 1941 г. Князев записывает: “С грустью подмечаю, как начинает нарушаться заведенный [в Архиве] порядок. Уже курят и в других служебных помещениях, где это не разрешалось, правда, не осмеливаясь еще курить в хранилищах” (с. 236). 3 декабря 1941 г. одна из разорвавшихся недалеко от архива бомба выбила – впервые со времени обороны Ленинграда – че-

тыре окна и в архиве. Князев фиксирует события утра следующего дня: “Сотрудники все-таки работали... Грелись у плиты и курили, зажигая папиросы лучинкой... Это в Архиве, при мне. Я молчу” (с. 336). Но не только разрушение инфраструктуры расхолаживало сотрудников. Голод ослабил людей настолько, что уже в конце января 1942 г. пришлось отказаться от ночных дежурств по архиву. На 231-й день войны, 7 февраля 1942 г., Князев фиксирует: “На службе то же; холод, мерзость запустения. Около самых входных дверей в Архив дворовые жильцы выливают испражнения. Снег желтовато-красноватый, обледенелый. Сотрудники усталые, осунувшиеся, ничего не делающие” (с. 461). Запись от 21 февраля 1942 г.: “Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, как бы сохранить затухающую жизнь в Архиве Академии, которым я ведаю, и сохранить его как один из самых замечательных архивов по истории русской культуры, и в особенности науки, за два с лишним века. А сил становится и у меня, и у сотрудников все меньше!” (с. 499). Наконец, запись от 6 марта 1942 г.: “Ходят на службу, служат, чтобы иметь карточку служащего. И только. Вот, что осталось от моих героев – сотрудников Архива, дежуривших ночью и днем, сидевших на крыше, не жалевших сил при первой нашей эвакуации в июле. И многие уже не встают с постели” (с. 517).

Меньше становилось не только сил у сотрудников, но и самих сотрудников. Голод и холод сделали свое дело. Смерть от голода и холода дочери и внука великого историка и филолога А.А. Шахматова и описание изготовления для них в читальном зале академического архива гробов из собранных по дворам досок, а затем их транспортировка на кладбище останутся одним из самых ярких документальных свидетельств трагедии блокадного Ленинграда. Этот эпизод немим укором многие годы будет преследовать автора дневника.

И, наконец, факт пятый: отношение власти и академического руководства к архиву. Дневник Князева фиксирует если не полное равнодушие, то торопливо небрежное восприятие ситуации, в которой оказались академические архивы Ленинграда. Сначала принимались противоречивые решения об эвакуации архивных документов академических учреждений. Затем о них просто постарались забыть. Князев и его подчиненные оказались в одиночестве, борясь не только за спасение архива, но и за свою жизнь.

И тут невольно встает вопрос о цене шкалы измерения жизнедеятельности государства, общества и человека в трагических ситуациях, включая шкалу науки. Для обороны государства физические, химические, технические и другие естественные науки имели не только реальное, но судьбоносное значение, особенно если вспомнить, что как раз в дни блокады замаячили перспективы создания атомной бомбы, начались разработки новых видов оружия и т.д. Понятной казалась ценность картин Эрмитажа – всего лишь за чуть более десятилетие до этого некоторые из них хорошо послужили, став одним из источников финансирования индустриализации. Даже ценность мозаичного полотна Ломоносова “Полтавская баталия”, украшающая парадный вход в Академию наук, была очевидной и поэтому не случайно уже в первые дни войны, она была надежно укрыта за кирпичной стеной. А бумаги, самый незащитный в условиях военного времени “продукт жизнедеятельности” государства и людей, в том числе зафиксировавшие величайшие взлеты человеческого ума, оставались на далекой периферии. Государственная шкала измерения их ценности в условиях войны была равна, если не ниже ценности человеческой жизни.

В конечном счете блокадная эпопея документов академических учреждений Ленинграда, включая Архив АН СССР, завершилась благополучно: наиболее ценные из них удалось эвакуировать, а те, что остались на прежних местах хранения за небольшим исключением пощадили германские снаряды и бомбы. Дневник Князева показывает, что, несмотря на героизм и самоотверженность архивистов, сменившиеся потом в условиях голода и холода апатией, сохранение академических бумаг стало делом случая – не было, за одним исключением, ни одного попадания в хранилища немецких снарядов и бомб.

Что дает нам, сегодняшним и нашим потомкам, сохранение академических архивов в годы войны? Гордое понимание состоявшегося факта сохранения документальной связи непрерывности исторического пути России, а значит, и реальности такой непрерывности. Грустная констатация того, что такая непрерывность порождала не только великие взлеты, но и трагедии. Готовность и сейчас использовать этот великий потенциал академических архивов для какого-то взлета души и ума наших соотечественников, прошлых, и ныне живущих, для модернизации России.

12 августа 1942 г. начался новый, “мирный” период жизни Князева, его жены и его дневника. В этот день он был эвакуирован в Москву. 26 августа поезд мчал его из Москвы в Казахстан в санаторий “Боровое”. Там он вместе с другими учеными – ленинградцами АН СССР проходил “реабилитацию” до 28 июня 1943 г., когда вновь был направлен в Москву, где занимался служебными делами в Академии до начала июня 1944 г.

Возвращение в Москву в июне 1943 г. не принесло успокоения. Князев фактически прекращает вести свой дневник на целый год и 31 мая 1944 г., накануне отъезда в Ленинград, объясняет это тем, что не было “стержня”, на что можно было бы нанизывать свои мысли, да и много было другого дела.

2 июня 1944 г. после почти двухлетнего отсутствия он вновь вернулся в любимый город. И дневник Князева вновь начинает “говорить”, он вновь тщательно фиксирует и хронику войны, теперь уже почти ежедневно победную, и хронику жизни Ленинграда, теперь уже мирную. Автор деловито размышляет о том, как по чертежам Архива Академии можно будет восстановить разрушенные ленинградские здания, он возглавляет комиссию по снятию защитной кирпичной стены с мозаичного Ломоносовского панно “Полтавская баталия” в главном здании Академии, с удовольствием фиксирует стук молотков по городу, свидетельствующий о застеклении разбитых окон. Уже в первые дни после возвращения он отправляется на Дворцовую площадь и записывает: “Передо мной была величественная, но пустынная площадь Победы 1812 г. Какая же должна быть площадь и колонна тому, кто спас нашу Советскую, поистине священную Россию!” (с. 999).

А Победа становилась все ближе и ближе. Она чувствовалась не только в возвращении из эвакуации студентов, преподавателей Ленинградского университета, ученых Академии, но и в событиях, явно символических как для автора дневника, так и для других ленинградцев. 5 февраля 1945 г. была снята деревянная обшивка с любимых Князевым сфинксов, 12 апреля от такого же плена был освобожден “Медный всадник”, 30 апреля отменено затемнение Ленинграда.

Теперь Победа приближалась событиями в Европе. 13 апреля 1945 г. Князев записывает: “Почти вся наша армия за пределами Союза, в старой Европе. В пятый раз (Семилетняя война, Итальянский поход Суворова, Тринадцатый год [1813], Венгерская кампания, Балканская война) русские офицеры и солдаты поражают весь мир своей стойкостью и выносливостью. Почти во всех столицах побывали русские войска. Мы между Европой и Азией. Нас часто не хотели признавать европейцами. Но мы и не азиаты. Мы е в р а з и й ц ы. И без всякой тени “самохвальства” мы несли и несем новый светоч человечеству, идеал настоящей человеческой жизни, то, что мы называем сейчас бесклассовым обществом” (с. 1054 – 1055).

Запись Князева от 9 мая 1945 г. полна ликований – иначе и быть не могло. Но она поражает не этим. Уже смерть Рузвельта породила у автора тревогу. 27 апреля, комментируя конференцию в Сан-Франциско, закончившуюся созданием ООН, Князев пишет: “Много надежд возлагается на Бога и на разум человеческий. Но вряд ли все это поможет. Речи нового президента США, государственного секретаря, скорее, напоминают речи пасторов, чем речи действительных строителей во всем мире” (с. 1059). Праздничная запись, продолжая эту мысль, заканчивается неожиданным полупредвидением: “Что впереди? Сегодня не к месту этот вопрос. Но то, что происходит на

Мировой конференции в Сан-Франциско, не вселяет большой уверенности, что кончившегося кровавого кошмара не повторится” (с. 1068).

И глаз не способен просто увидеть, и ум не смеет сразу понять, и пальцы немеют и не могут нажать на клавиатуру компьютера, чтобы сформулировать и записать выводы, далеко не все, об этом документальном историческом источнике по истории Великой Отечественной войны. Он займет выдающееся место в истории российской дневниковой документалистики, создававшейся в экстремальных ситуациях.

Конечно, можно было бы отметить некоторые недостатки по археографической части публикации дневника Г.А. Князева. Но главное в данном случае в другом. Князев верил в то, что будущие читатели его дневника – будут умнее, честнее, мудрее его. Вполне вероятно, что он обращался не к нам, сегодняшним, а к тем, другим поколениям, которые будут отмечать в 2045 г. 100-летний юбилей великой Победы. Сегодня его голос услышан только архивистами, а благодаря их стараниям и нами, справедливо гордыми за ту победу.

Автор дневника создал запоминающийся документ эпохи и проживавшего в ней человека. В этом документе трепетно все, начиная от жизни и мыслей обычного российского интеллигента, его фиксации окружающего, и кончая гражданской позицией советского человека с присущими только ему убеждениями и мыслями.

Документальная публикация его дневника периода Великой Отечественной войны стала одним из самых заметных событий в отечественной археографии последних лет, существенно пополнив документальную летопись войны.